

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Литературное ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

РАБОЧИЙ КРАЙ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «РАБОЧИЙ КРАЙ»
И ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

М. КОЧНЕВ

Наш Май

...Почти три года канонада
Не умолкала над Невой,
Но не сломила Ленинграда:
Стоял он с гордой головой.

И в сорок первом вражьи роты
Москва у стен своих смела.
Кремля старинные ворота
Москва врагу не отперла.

Стальная двинулась громада.
Уже трубили: «Город взят!»
Они дошли до Сталинграда,
Но раздавил их Сталинград.

Где Искра вел партизан хоробрых
В далекий тот былинный год, —
В степях донских сквозь вражьи ребра
Трава зеленая растет.

Где тосковала Ярославна
И вдаль глядела со стены, —
Полки немецкие бесславно
В чужой земле погребены.

И степь, и шумные дубравы,
И воды Буга и Донца,
И ветер вольный песню славы
Поют про нашего бойца.

За муки нашего народа,
За горы горя, реки слез
В груди своей четыре года
И скорбь и ненависть он нес.

У немцев нет реки, как Волга,
И фриц — не то, что наш солдат,
Ты устоял, Берлин, недолго, —
Ты не Москва, не Ленинград.

Нет, не тебе тягаться с нами,
Навек проклятая страна,
Колышет ветер наше знамя —
На нем победа и весна!



Рис. И. КОЛОЧКОВА.

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Вл. ЖУКОВ

Коротким было золотое детство...
Мальчишки, в жизнь не брившие усов,
Мы, не согнувшись, приняли наследство
В тот грозный день из рук своих отцов.

Из эскадрона выйдя прямо в поле
Расправил я заплетенные ремни...
Не неженками выросли мы в школе,
А сильными и честными людьми...

Не из романтики, — в мечтах о славе
Я сбросил куртку и шинель надел,
Я книжку недочитанной оставил
И недоделал много нужных дел.

Не за наживой ненависть большая
Нас привела на прусские поля,
Чтоб «юнкеры» нам в небе не мешали
И без траншей и ровов цвела земля!

Чтоб кованой железом страшной бугцей
Мои поля германец не топтал.
Чтоб к книжкам недочитанным вернуться,
Сдав в склад шинели, пушки — в арсенал.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

А. БЛАГОВ

С боями пришел он от Курской дуги
К предместьям фашистской берлоги.
Истлела шинель, не одни сапоги
Сменил он на дальней дороге.

Жара полыхала и вьюга мела,
И снилась деревня родная.
Широкая трасса за Одер легла,
А битвы гремят не смолкая.

Он ранен, все меньше становится сил,
Но верен прицел автомата:
Нет я еще мало врагу отплатил
За гибель любимого брата.

Давно от сестренки не слышу вестей —
Пропала рабой на чужбине;
За все это должен немецкий злодей
Со мной расквитаться в Берлине!



М. КОЧНЕВ

ЧОРТОВ ПАЛЕЦ

(Из старинных сказов ивановских текстильщиков)

В ПОЛЯХ после грозы черные камушки попадаются. Чортовыми пальцами их называют. А на нашей фабрике хозяина Якова чортовым пальцем прозвали. Не человек был, а гора, еко про еко, саженого роста, такой медведь: в дверь по-людски не ходил, боком протискивался. Пучило его словно на дрожжах.

Был у него, эдак же, Аким красковар. Знаменитый человек. Ум имел большой, а росточка большого бог не дал. На вид за человека в базарный день гроша напросишься, а в деле его посмотришь — рубля золотого не пожалеешь. И душой славный был: не сварлив, не злобен. Выходит, что душа у него больше его самого была. Бываю такие люди. Любит Аким краски больше всего на свете. И сил своих не жалел, все выдумывал, как бы расцветку на ситца похвастивей да попрочней положить. Чего не задумает, — сделает. Первое время хозяин на него не обижался...



Да недолго. Заявился на фабрику немчишка один. Объявил себя в красочном деле понимающим. Пачпорт, перво-наперво, подает. А в нем значится: у московских хозяев ситца красил и благодарность заслужил. Яков польстился на немчишка. Взял его главным колористом на фабрику. Ну, и спихнул немчишка Акима. Пришлось Акиму под началом немца служить. Только немец попался недолговечный.

Потасились Яшка весной с товаришком в Нижний на ярмарку, а немца и след простыл. Приехал Яков с ярмарки, клечат немца — конторские и знать не знают, куда завихнулся хваленый колорист. Яков — словно жгучая крапива. Ходит по фабрике, мечет, путем никому слова не скажет.

Чортовы пальцы, — кричит он, — еко про еко, пока базарил, фабрику развалили, все приходы, расходы мои попутали. Я грамоте не горазд, а вижу, что все вы жулики, норовите как бы хозяина обворовать.

И пошел, поехал. Только слушай. Отсоборовал конторских. По фабрике, как угорелый, заметался. Все у него — чортовы пальцы! Ткачих пропек, за мытильщиков принялся, таскальщикам — и тем досталось. Особо Яшка до красковаров добирался. Вбежал в красковарку:

— Где немец? — спрашивает.

Красковары из-за чанов выглядывают, под нос себе улыбаются.

— Где немец, чортовы пальцы, не слышите что ли?

На Акима наступает. Аким тихонько-легонько поясняет:

— Вы его рядили, нас не спросили. И мы за него не в ответе. Теплое место искать отправился.

— Ах, чортов палец! — хозяин сокрушается. — Счастье его, а то бы я из его шкуры себе сапоги сшил... Коль немца нет, из твоей сошью, ты тоже повинен, — упреждает Акима.

Аким от этих слов не особо испугался. Любопытствует:

— Какие же вы сапожки шить из моей кожи желаете? Смазные или хромовские? Ежели смазные, не погодится моя кожа — тонка, ежели хромовские, тоже не погодится — вся в рубцах, заплатки сажать придется. А где я рубцы нашол — вы сами знаете.

Хозяин в азарт. — Заткни рот, чортов палец, — красковару командует. — Разбойники. Разор сущий. Вы своей расцветочкой больше тысячи у меня из кармана вынули. Линючки накрасили. Половину ситцев у нижегородских в лабазах сбросил.

— Зато на немецкий манер выкрашены, — подкузвил хозяина Аким.

— Ты, чортов палец, еко про еко, — зыкнул хозяин, — не смейся, я тебе не кто-нибудь, не валеный сапог! Пошто ты мой товар испортил, в убыток хозяина ввел? Отвечай!

А что отвечать. Без ответа все ясно. Красковар начистоту заявил:

— Не моя рука в цвете, не моя голова в ответе. Немец красил, не я.

— А у тебя глаза были?

— Были.

— А голова есть?

— Коли шапку ношу, значит, есть.

— Ты думал, на немца гляючи, что он делает?

— Кабы не думал, не говорил бы.

Красковар сел на кадохку, да по порядку все припомнил, как дело было с того часу, когда немец впервые заявился.

— Я говорю, нужды большой нет чужого мастера брать, а вы мне: Аким, чортов палец, в красках не разбираешься, а немец похвалу за свои рецепты заслужил.

Ровно кто краской плеснул на хозяина. Красней жареного рака стал.

— Не я проторговался, а вы, чортовы пальцы. Что на ярмарке недополучил, в конторе наверстаю.

Как сказал, так и сделал. К вечеру один набойщик заглянул зачем-то в контору. Прибежал, докладывает:

— Ну, наш чортов палец беленой обелся. С ткачих по пятиалтынному с носу скинул, с набойщиков — по четвертаку, а с красковаров — по целковому. С Акима трешницу. Аким только в затылке почесал.

— За немца, ребята, отдаваемся, за его рецепты похвальные.

Меж собой пошептались, на том и остановились. Выше хозяина не встанешь. Такие времена были.

Смена кончилась. Опустела фабрика. Фонари погасли, пыль улеглась. Только мыши да крысы по ткацкой гуляют. Красковары тоже ушли. Одни Аким замешкался. Он снадобье для новой краски составлял. Мудрил, мудрил, да на этот раз у него не получалось.

Сидит Аким над котелком, специн подбавляет, помешивает, хозяин является. Сам и не глядит на Акима.

— Чего ты, говорит, торчишь здесь?

— Для вас радею, — красковар на ответ.

— Мало прибытку от твоего раденья. Кабы ты радел, не залежались бы мои ситца.

Приказал Акиму домой собираться, а сам в отбельную направился. Походил, походил по фабрике, опять в красковарку прется. Захотелось ему своими глазами посмотреть, как краски разведены в чанах. Не по старому ли способу, что немец ввел, новую партию товару красить собирались.

В цехах сумеречно, на всю фабрику фонарика три светится, да и те от пыли и копоти черными стали. Он с неудачи-то подзаложил... В голове пошумливало.

Открыл дверь — показалось в этот самый миг, свет погас. Перешагнул за порог — чудится ему, кто-то шастит, только не на полу, а вроде как бы под потолком, вроде на чан карабкается. Потом, как бухнется в чан, инда брызги в глаза хозяину полетели. Должно быть фабричный кот за мышами охотился, да и упал в чан, решил хозяин. Чан как раз с черной краской был. Встал хозяин на приступку. Чиркнул спичку и обмер: лезет из чана не кошка, а голова с черными волосищами, черными пальцами, пыхтит, краской брызжет, отплеивается. У хозяина и спички на пол посыпались. Стоит он или жив, ни мертв, в толк не возьмет, что за притча. До седых волос дожид, никогда такого не случалось. А ноги тяжелее чугунных сделались. К полу сразу прирос. А чертовщина из чана выпрыгнула. Яков крепиться начал. Не привидение ли, думает. Может померещилось. Ан нет. Опять чиркнул спичку. Стоит перед ним, ну, настоящий леший, черный весь и метлу в руке держит. Той метлой Аким стены обметал. Тряхнул волосищами, спичку задул. В потемках хозяин совсем не разберется, кто перед ним. К двери пыхтит. Торкнулся в стену, принял ее за дверь. Дверь не открывается. Ну, думает, попал. Кричать — никто не услышит, да и стыдился, охулки бы от рабочих не нажить, мол, хозяин чана с красками испугался. Осмелился Яков, спросил:

— Кто ты такой?

— Я — самый, что ни на есть, настоящий чорт, Яков

Петрович. Старший в нашем роде и проживаю вот в этом чане, на дне под дубовой доской... Не вздумай меня выкуривать отсюда. В одночасье всей фабрики лишись. Камня на камне не оставлю. Я ни креста, ни ладана не боюсь.

С Якова пот катится, поджилки у него трясутся, он и удрыть бы рад, да с перепогу позабыл, в какой стороне дверь; куда ни ткнется — или стена или чан... Сам все подале от чорта пятится. Шарит, скобу ищет. А чорт наступает на него. Все ближе и ближе. Потешается. Чорту потеха, а хозяину слезы. Он богородицу читать начал.

А чорт хохочет: — Ты, говорит, читай не читай, меня молитвой не смиришь.

Теперь ты в моих руках. Давно я за твоими порядками на фабрике присматривал, в чане сидючи, все молчал, ждал, что дальше будет. Теперь время пристало поговорить с тобой начистую. Несправедливо ты, Яков, живешь. Народ фабричный задавил работой да штрафами, плохого обхождения ты со своими людьми. Норовишь рабочего человека живого вместе с потрохами проглотить. Вот и сегодня, за что ты трешницу с Акимом сбросил? На чужих пятиалтынных богатеешь? Я и решил с тобой ныне разделиться по справедливости. Бог на небе, а чорт на земле, когда-то бог до тебя доберется. Я к тебе поближе живу. Подумай, может еще образумишься.

А сам ни на шаг от Якова не отстает, на пяточки ему наступает, вокруг чанов гоняет, метлой по затылку постукивает. Яков взмолился:

— Ну, чорт, ты сам посуди, ты в чане живешь. Какая в нем краска? Всю коммерцию мне испортили. Какой я убыток через Акимом принял. Нешто так красить можно?

— Не через Акимом, а через немца. А немца ты сам отрыл. Похаживай, похаживай, — потирает Якова, сам знай метелкой-то по затылку, то по заголку постукивает.

Споткнулся Яков, а чорт на него наел и ну шекотать. А Яков сроду шекотки не переносил. Яков по полу катается, пытит, сопит, а чорт знай тешится, дескать, поминать меня будешь. Так укатал, что Яков язык высунул, лежит ни жив, ни мертв, словно выкупанный. Чорт катает Якова по полу, приговаривает:

— Думай, думай, выбирай: или в чан со мной или ублажи народ свой.

Пришлось Якову согласиться.

— Ладно, говорит, так и быть, коли ты против меня, обратно накину трешницу Акимом.

Чорт недоволен.

— Почему только Акимом, а другие чем его хуже? Накидывать так всем накидывать: и мытильщикам, и ткачам по пятиалтынному.

— Ладно, накину, только отпусти, — согласился хозяин.

А чорт не отпускает.

— Подожди, — говорит, — я с тобой еще поиграю.

Снял с Якова поддевку и картуз, на себя надел. Укатал Якова до одурения.

— Вставай! — приказывает. Отворил дверь: — Вываливайся, да не обертывайся. Обернешься — в каменный столб обрашу и будешь потолок в ткацкой подпирать. На прощанье Якову такой наказ дал:

— Обещанное — исполни. Не исполнишь — плохо тебе будет. Второй раз наведу, что по справедливости делать станешь — я показываться не буду; что несправедливо поступишь — упреждение сделаю, сначала палец свой пришло к тебе...

Яков обещал все сделать по-справедливому.

Утром хозяин появился сердитый, но на народ не кричит, как раньше, молчком дуется. Приказывает краски вылить:

— Выкатите вот этот большой чан с краской, да изрубите его на дрова.

— Почему так? Дубовый чан портить... Удобная посудина, — полюбопытствовал Аким.

— Не твое дело, — огрызнулся Яков.

Сделали, как приказано. Краску вычерпали, чан на двор выкатили. На завтра на дрова рубить сдобились. А через ночь хозяин пораньше всех в контору катится, глядит — на ступеньке чортов палец лежит — черный камушек продолговатый, на подобие огуречка.

Яков обомлел. Сразу сообразил. Чортово уведомление. По всему видно, чорт разгневался на то, что жилище его потревожили. Яков камень в карман, а сам скорее в красильню завихнулся, кричит:

— Ну-ка, ребята, минтом чан на старое место поставьте.

Краски в нем разведите, какие и были. Да краски из этого чана без моего приказа не черпайте. А чан лаком выкрасьте.

— За что такая честь этому чану? — спросил Аким.

— Не твое дело, делай, что приказано. Нынче я передумал.

Водворили чан на старое место. Лаком выкрасили. Краски полно, а брать не берут.

— С ума, знать, Яшка свихнулся, — между собой толкуют фабричные, с чего — не разберутся. Как чан на место поставили, больше чорт никаких знаков о себе пока не подал. Успокоился. Яков помалкивал, а себе твердо решил:

— Это не привидение, а впрямь в этом чане болотный проживает.

Время подошло жалованье платить. Конторские листы написали, кому сколько поставили.

Спрашивают Якова:

— С ткачих по пятиалтынному убавлять?

А тот им:

— А чаво же?

— А с Акимом трешницу?

— С Акимом не след.

Яков думал обмануть чорта. Таки бы: Акимом трешницу оставлю, а с других сдеру. Не тут-то было. Через ночь опять чортов палец нашел, да не в конторе, а под дверями дома. Чорт, видно, на дом к нему наведся. Якова в оторопь бросило. Понял, что чорт все его мысли наперед угадывает. На фабрику пожаловал, с фабричными у него обхождение другое, не рычит, не кричит, как раньше. Словом, стал немножко на человека походить. Вот, еко про еко, как человек меняется, если его в маковку кинуть. Конторских распоряжение дает:

— Ни с кого штрафы не брать... Ни с ткачих, ни с отбельщиков. Что за прошлый месяц вычи — тоже оплатить. Слух прошел, а фабричные не верят. Ну, говорят, где-нибудь медведь сдох поблизости.

Медведь, не медведь, а дело вышло на пользу народу. Совсем хозяин переменялся с тех пор. Не то, чтобы больно ласков сделался, но оторопь его какая-то охватывать стала. Где ни идет, и все как бы кого остерегается, по сторонам смотрит, назад оглядывается, равно кто за ним гонится. Темноты пугаться стал. Вечером по цехам перестал один ходить.

А все-таки разок попытался зашемить чужой грош. Заставил два воскресенья народ отработывать, а когда денежки потребовали, отказал. Аким говорит:

— Воля ваша, а не по справедливости поступаете!

— По справедливости теперича одни дураки живут, — обругал Акимом хозяин. На масляной дело было, на утро в парадном сразу три чортовых пальца объявилось. Яков увидел их, призвал конторщика, приказывает:

— Раздай красковарам, что полагається за воскресные дни. Народ с других фабрик стал завидовать тем, кто у Якова работал, говорит — хозяин у вас что-то больно покладист стал.

Долгонышко, эдак, тянулось. Якова хворь точить принялась. Одышка замутила. И с виду оплошал. Но скрипел, годы его были небольшие. Слух прошел, что Якова чорт по ночам донимает. Не больно верили этому. Но жилось рабочим полегче.

С Акимом беда стряслась — ослеп. А вскоре и совсем слеп. Пришли его свои фаричные проведать. Аким говорит жене:

— Внеси-ка мешочек с моим золотом из клетки.

Жена внесла. Аким взял его, а не развязывает.

— Вот, — говорит, — мое золото. Другие на него ничего не купят, а я покупал, да не только я, а вы со мной вместе. Все дело началось с того дня, когда я в чан бухнулся. Хотелось мне больно свой рецепт той ночью испытать. А Яшка хотел тогда меня выгнать. Вытряхнул на одеяло черные камушки:

— Вот мое золото: чортовы пальцы. Когда хозяин взбеленится, обижать будет, вы ему по камушку на порог подбрасывайте, да чтобы он не узнал. Боятся он этих камушков.

Тут сразу все и поняли.

Аким вскоре умер. Один мытильщик раз к дверям хозяина с камушками пошел, да и попал сторожам в руки. Сграбастали. Все камушки отобрали. Яков догадался. Ну, после этого на его фабрике совсем житья не стало ткачам, особенно красковарам.

Хозяин, еко про еко, упущенное взялся наверстывать.

С. СПИРИНА

Встреча с Любовью

(Отрывок из повести)

БОЛЬШЕ ВСЕГО беспокоило Безуглова, что путь, который указали ему партизаны, стал мало совпадать с описанием. Судя по чертежику — клочку бумаги с одним ему понятными нероглифами — он должен был сейчас идти осинником, а березовый лес как начался с вечера, так все и тянулся, и не видать ему было ни конца, ни краю.

— Стоит ли уж идти, не свернуть ли, — заколебался Безуглов, но тут же решительно тронулся дальше. — Не может быть, что ошибка. Старик не мог ошибиться, — и в памяти его мгновенно всплыло лицо «дидугана Сдуневича», хитрого партизанского старика-разведчика. Это он начертил Безуглову на бумажке путь и когда передавал, сказал: «Ось цей тропкой йды, вона сама до хаты доведе».

— «До хаты», — усмехнулся про себя Безуглов. — «Знать бы где та хата»... Он снова раскурил на ходу немецкую сигарку, привычно ругнув ее за «малокровие», и прибавил шагу. Вдруг ступня его с ходу споткнулась о что-то мягкое, податливое. Едва удержавшись на ногах, Безуглов отскочил в сторону и тесно прижался к толстой березе. Сердце сильно колотилось, в глазах резануло слезой. Напряженно вглядываясь в темноту, он рванул из-под куртки маленький «Вальтер» и приготовился стрелять. Но прошло несколько томительных секунд, — а чернее на тропинке пятно оставалось неподвижным.

Труп — заключил Безуглов и, обливав посолоневшие губы, сплюнул горькую сухую слюну.

Он отошел довольно далеко, когда услышал вдруг слабый прерывистый стон. Остановился, прислушался. Ошибка? Нет, стон явственно повторился.

Безуглов возвратился на тропку и зажег фонарь.

Узкий сноп зеленоватых лучей скользнул по траве и выхватил из темноты край синей юбки, прикрывавшей босые ноги. Они были малы, покрыты грязными ссадинами. Безуглов приподнял фонарь и увидел узкие плечи и тесно прижатые к груди худенькие руки. Лица не было видно. Оно было прикрыто сбившимся с головы темным большим платком. Он приметил, что на нем были пестрые крупные цветы, как у цыганок.

— Девчонка. Лет тринадцать. Больная или раненая, — торопливо, почти автоматически отмечал Безуглов, отходя.

— И что с ней теперь делать? Будить? А дальше что?

«Он был растерян. Уйти нехватало решимости. Совестно не позволяла. Оставаться — значило терять время. «Это — никак... Да и чем ей помочь? Ведь и лет ничего», — торопливо обсуждал Безуглов, машинально перебирая в кармане горсть шоколадных крошек и обломки сухарей. Это было все, что оставалось от его дорожного пайка.

По всему выходило — надо идти. Но в это время снова раздался стон. Он прозвучал как-то особенно жалостно, будто звал помочь.

На этот раз яркий свет фонарика разбудил девочку, и Безуглов увидел ее лицо. Оно было похоже на маленький сероватый доскут, на котором нельзя было различить ничего, кроме двух темных впадин глаз, застывших в отчаянном, невыразимом испуге. При первом же движении Безуглова девочка вскочила и рванулась бежать.

— Стой, стой, куда ты? — он схватил ее за руку и сразу ощутил, как бьет сильной дрожью все ее тело. — Кто такая, почему в лесу?

Она не отвечала.

— Да ты не бойся, не обижу. — Он тихонько сжал шершавую ручонку. — Отвечай, бежала, что ли? Из Ясиновки?

— Из Куцевки, — прошептала она еле слышно и вывободила руку.

Безуглов присел на землю и, пошарив в кармане, протянул девочке сухарь.

— Садись. Говори.



Она села рядом и, запинаясь, с трудом находя слова, рассказала обычное. Их местечко лесное, глухое. Прежде немец мало туда заглядывал. А как стала наступать Красная Армия, и до них добрались. Недавно ночью понаехали на мотоциклах, злые, бешеные. Всех из хат невыгоняли, стали грабить, громить. Потом подожгли. Кто хотел тушить — убивали, кто бежать — тоже. Расстреляли мать, сестру, сестриных ребятишек. Даже самого маленького не пожалели, грудного... На штык...

Она тихо и горько заплакала. Безуглов беспомощно пожегил и неловко погладил ее по платку.

— А ты как же ушла?

Девочка всхлинула и перевела дыхание:

— Не знаю как. Не помню. Сперва в яме с картошкой спряталась. Целые сутки там сидела. На другую ночь уползла в болото, а потом в лес.

— И давно ты ходишь?

— Третьи сутки.

— Голодная?

— Картошки в яме захватила. Вот...

И она протянула узелок с несколькими картофелинами. Небо начало мутнеть. В разрывах хмурых облаков, лениво, как бы с неохотой уплывающих с неба, скользили бледные бесстрастные звезды. Предрассветный ветерок донес влажную прохладу: видно, где-то близко было лесное озерко или топь. Безуглов посмотрел на девочку. Она сидела, опустив голову, обхватив руками колени, казалось, навсегда застыла в безысходной, каменной тоске.

— Давай-ка спать, — глухо сказал он и протянул ей руку. — Скоро день. Все равно далеко не уйти.

..Неволью вспомнилось Безуглову и свое горе. Обычно он старался не думать о нем, прятал глубоко и упорно. Но сегодня не сумел и сколько ни комкал, ни мят нахлынувшие горькие мысли, они, неумолимо и против воли, возникали вновь и вновь.

Вспомнилось все. Мать и отец, и сестра, и тихий их дом над рекой. Теперь казалось, что та жизнь была не на земле, не в самом деле, а в каком-то почти забытом, счастливым сне, от которого, бывало, не хочется проснуться.

Перед глазами проплывали, ранив сердце, до боли знакомые картины невозвратного детства, беспечной юности. Так недавно все это было. Безуглов видел товарищей, семью, родные и близкие лица, слышал их голоса и мысленно отвечал им...

Яснее других припомнилась ему мать. Он увидел ее так близко, что мог, казалось, достать до нее рукой. В синем платье с какими-то смешными листочками и ягодками, с рассеянной, будто забытой улыбкой на встревоженном и бледном от волнения лице. Такой она была в тот памятный день, когда он уезжал из родного городка.

Это было в первые дни войны. Семья и, товарищи пришли проводить его в далекий путь, в неведомую военную школу. Ребята то и дело уводили его в сторону и шопотом, по секрету, спрашивали, куда он едет. Но он сам не знал тогда ничего кроме того, что школа находится очень далеко, где-то в северных лесах. Ему было тогда очень обидно, что отправляют не прямо на фронт, а мать, не скрывая, радовалась и все говорила:

— Еще навоюешься, сынок. Сначала научись делу, а то и стрелять-то как следует не умеешь.

Он страшно злился на нее тогда, а все смеялись, поддразнивали ее и называли трусихой.

И вспомнилось, какие она присылала письма. Таких, наверное, не умел писать больше никто в мире. Тут было все: и про дом, и про родных, и про любимых друзей все новости. И столько заботы и ласки! Бесконечные советы и наставления о здоровье, мод, береги себя, не простужайся на учениях, сынок. Бывало, прочтешь, и увидишь ее как живую.

Сначала он часто отвечал, пока учился. А потом окончил школу, закипел в своей новой судьбе, стал жить от задания до задания, от риска до нового риска. И не до писем стало.

Так пошел второй год войны. Безуглов был на далеком от родных мест приморском фронте, когда однажды узнал, что в их тихий городок пришли немцы. Товарищи пытались утешить его, отвлечь от тяжелых мыслей. И даже сам командир, всегда строгий и неразговорчивый, с седыми висками и быстрым, в душу проникающим взглядом, вызывал его к себе и долго и задушевно беседовал. Но Безуглов только молчал, был благодарен про себя за участие, а сам оставался жить со своим грузом. Нутром, всей жизнью своей он чувствовал, что произошло непоправимое.

Так и было, и ему пришлось самому в этом убедиться через год, когда началось наступление и город вновь стал советским.

Безуглову удалось попасть туда в первые дни, и он застал все еще без перемен, так, как было при входе. Он шел по улицам, которые до каждого камешка знал с детства. Теперь здесь было кладбище. Курганы битого кирпича высились меж остовами одиноких домов, чудом уцелевших. Они были пусты и зловещи, как могильные склепы. Ошалелые от горя и страха люди копошились около них, жались друг к другу, все еще не веря в конец смерти и ужасов.

С трудом находя дорогу, он пришел на свою улицу. То, что он увидел, пригвоздило его к земле. Зияющий воронками пустырь, хаос битого стекла и вырванных с корнем деревьев. Там, где стоял их дом, дымились руины, еще не остывшие от пожара. Сам не зная зачем, Безуглов шагнул через пролом в рухнувшей заборе и очутился там, где раньше был сад. Деревья были мертвы. Ни одно не спаслось.

Он повернул к дому. Уцелела только одна стена. Он подошел к ней и узнал по остаткам обоев, пожелтевшим и скрутившимся в желтые трубки, комнату сестры. Рой бесвязанных и жгучих воспоминаний приковал его к месту. Он вспомнил звонкий голос сестры, смех ее бесчисленных подруг. Они так любили сидеть в этой комнате у окошка, а он с товарищами приходил сюда и дразнил их женихами. И это исчезло, испепелилось, ушло навек.

Стена покачнувшись у него перед глазами. Он прислонился к ней лбом, обнял руками. Хотелось громко кричать, вытолкнуть из горла комок огненных слов. Они душили его, жгли, не давали дышать. Но вырвался только хриплый негромкий стон, и он сам не поверил, что это его голос.

Когда настали сумерки, Безуглов ушел, сжимая в ладони оборванный клочок обоев. Это было все, что осталось ему от дома.

В городе, на центральной площади он увидел виселицу, на которой был повешен его отец. Матери он не нашел. О сестре узнал, что она рабыня.

Это случилось год назад. Но Безуглову часто казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. И только сегодня, встречая в этом глухом и враждебном лесу новый день своей жизни, он понял, впервые за все это время, как горячо и свежо еще его рана.

Его разбудило солнце. По привычке, которая стала уже инстинктом, Безуглов поднялся не сразу, а еще полежал, прислушался. Он уже успел совсем забыть о своей ночной встрече и вздрогнул от неожиданности, когда уловил рядом с собой шорох. Обернувшись, он увидел девочку. Она сидела к нему спиной и заплетала длинные темные косы. Потом поднялась, отряхнула юбку, аккуратно сложила свой темный, знакомый с ночи платок в цветах.

Безуглов пристально следил за ней. Странное и беспокойное любопытство овладело им. Он еще не умел разобратся, откуда оно, но, повинаясь какому-то смутному и непреодолимому предчувствию неожиданного, стал наблюдать за каждым ее движением.

Вот она вколола гребень в косы, свернула в колечко очески волос, поправила на плечах смятую блузку. И вдруг по одному какому-то повороту, едва уловимому же-

сту ее плеч и рук, он понял сразу и безошибочно, что перед ним не девочка, не ребенок.

Наконец, она обернулась к нему лицом. И снова, как тогда, ночью, первое, что он увидел, были ее глаза, большие, темные, почти черные, в густых ободках ресниц. Взгляд их был сумрачен и печален, и от этого ее маленькое, аккуратно очерченное лицо с небольшим ртом, веселой ямкой на подбородке и родинкой на щеке, казалось неестественно напряженным, даже угрюмым.

Смутившись, что она перехватила его пристальный взгляд, Безуглов поспешно отвернулся и спросил с деланным равнодушием:

— Давно встала?

Несколько раз он обращался к ней с какими-то вопросами, пытался завязать разговор, но она отвечала односложно, с видимым напряжением и неохотой. А вскоре ушла в сторонку под деревом и вовсе примолкла.

Безуглов тоже ушел в себя. Он лег поодаль и, исподволь наблюдая за ней, обдумывал, как держать себя дальше. Он понимал, что ей очень тяжело. И все же это угрюмое молчание тяготило его и даже будило какое-то чувство, похожее на обиду.

К полудню солнце стало припекать сильнее и нестерпимо захотелось пить. Безуглов решил отправиться на поиски воды и окликнул девушку. Она не ответила. Он подумал, что она спит, и подошел поближе. Она не спала.

— Пойдем, поищем водички. Пойдем после сытного обеда, — сказал он шутливо. Но она только глянула на него своим уже знакомым сумрачным взглядом и не ответила ни слова.

Безуглов с трудом подавил внезапно накатившее раздражение и, решительно повернувшись, зашагал один в глубь леса. На этот раз он рассердился не на шутку и уж не сдерживал себя:

— Подумаешь, какая! Даже не ответила. Ну, не хочешь разговаривать и не надо. А то даже на вопросы не отвечает. Королева какая.

Зло покусывая травинку и перескакивая на ходу через пеньки, он шел все быстрее и вскоре вовсе скрылся за толстыми стволами деревьев. Вдруг его остановил несущийся вдогонку крик. Обернувшись, он обомлел от удивления. Прижав к груди руки и что-то выкрикивая на ходу, девушка бежала за ним.

— Что такое?... Что ты? — только и сумел он спросить оторопело, когда она, догнав его, судорожно схватила за руку и промокла заплакала.

— Не останусь я... Не останусь одна, — невнятно бормотала она, всхлиывая и дрожая всем телом.

— Да разве я уйду? Я же здесь... Тут я, — приговаривал он в замешательстве, озираясь по сторонам, не зная, что делать. Ее волнение и неподдельное отчаяние невольно передались ему и он, пытаясь утешить, неловко и несмело обнял ее за плечи. Она прижалась щекой к его груди и затихла.

Безуглов замер. Он боялся пошевелиться. Как-то сразу наступила удивительная тишина. Замолкло все: и лес, и птицы, и даже самый прозрачный воздух, весь в летающих нитях вызолоченной солнцем паутины.

Неожиданная близость ее легкого тела, такого доверчивого и детски беспомощного, захлестнула его волной шепчущей восторженной нежности. Сердце томительно замерло и сильно забило. Дышать стало сразу непривычно тесно и трудно. Не отрываясь, он глядел на ее поднятое к нему лицо, на мокрые от слез стрелки ресниц, вздрагивающие губы, и ему из всех сил захотелось подхватить ее на руки, понести как ребенка, говорить что-то ласковое, утешительное.

Но он не знал, какие бывают для этого слова, и не смел даже шевельнуться. Только стоял, неловко вытянув руку, за которую она его держала, и боялся потерять эту близость.

— Ну, хватит, хватит же. Не плачь. Нельзя здесь шуметь, — только и шептал он невпопад, тихонько подталкивая ее вперед. — Эх ты! А еще молчала. Да ты еще совсем малая. Ну, пойдем же, пойдем скорей. Где ж тут вода?..

М. ШОШИН

Весенний шум

ЧЕРЕЗ МУТНЫЕ РУЧЬИ в ложбинах и овражках, по весенней грязи, за пятнадцать верст от железной дороги пришел в Пантино Вася Коробцов, за рост прозванный «Достань-Воробушка».

Маленькая, тщедушная мать затопила печку, чтоб испечь, сварить для сына, а он ходил по избе, чуть не доставая головой до потолка, плечистый, широкогрудый, румяный, и гудел с высоты своего саженого роста:

— Зря ты стараешься, печеным, вареным я всю войну сыт по горло, мне бы капустки, соленых огурчиков, редечки, хренку — вот чего я давно не едал.

Старенькая, хрупкая мать смотрела на него радостным, восторженным взглядом и ласково говорила:

— Все найдется, только капусткой да редькой сыт не будешь, надо и то, что питательно.

В избу набралась колхозники. Здоровались, радовались приезду:

— Опять Пантино в гору пойдет.

— За семенами теперь в люди не поедет.

— Медалей-то сколько набрал — как шаглет, так звон.

Явился председатель артели Федор Федорыч. До войны, когда Коробцов был председателем, Федор Федорыч работал счетоводом. Здороваясь, он окинул взглядом Коробцовых, сына и мать:

— Прасковья Васильевна, такая вы крошечная, а привасли, в опровержение существующих правил природы, такое рекордное дитя... Интересно бы знать, как наука смотрит на этот факт.

— А вот, как-нибудь привезем в колхоз профессора и спросим. Ты говори о деле. Что колхоз ослабил? — спросил нетерпеливо Вася.

— Чутья, таланта к земле нету, Василий Петрович. Все попадаю мимо цели.

— Нечего говорить, — старается, суетится, а дело нейдет.

— Закономит пуд, а потеряет десять. Где кузнец-то?

— Товарищи, подождите свои слова вставлять, нам с Василием Петровичем надо спокойно все обсудить.

— Верно. В правление идите, там по бумагам все разберете.

— Вася, бери дело в свои руки.

— Пошли в правление!

— К бумаге вот у меня прилежность, а к земле нет, — плакался Федор Федорыч, раскладывая дела. — Так бы вот все и выводил цифирь... Всегда и гляжу, чего бы заприходовать.

— Повесить бы тебя, Федор Федорыч, надо, да уж ладно, отложим, главная вина не твоя — зря тебя на это место поставили, — сказал Василий, ознакомившись с положением артели. К весеннему севу не хватало семян овса и яровой пшеницы, огородных совсем не было.

...Утро. Пригорками и заполосками пробирался Вася в село Потехино. По одну руку бурое комковатое поле, по другую — сверкающий разлив реки, испещренный золотичками солнечного цвета. С поля шел запах перепрелой унавоженной земли, с реки — сырость и холодок разлива. Под ногами шуршали стебли прошлогодней полыни и чернобыла. На буром суглинке поля видны темные стаи грачей, над рекой выются белые рыбалки с заунывно-просящими кликами «пи-и-ить». Кричали грачи, шумела река и оживившийся лес за рекой, шумел ручей в овраге, из ольшаника слышался грудной сочный голос женщины:

— Да и-у-у-у!.. Нну-у-у...

Рыжая лошадка стояла передними ногами на берегу, задними в воде, и тяжело водила боками, в ручье телета, а на ней два плуга и железная борона.

— Что втюкалась?! — спросил Вася.

— В грязи колеса ззело.



На Васю смотрели карие задорные глаза рослой статной девушки. Чересчур густой румянец на щеках, струйки пота на висках, мокрый подбородок — все это говорило о том, что немало было положено сил, чтобы вытащить телегу. Он пристально посмотрел на девушку, подумал «а хороша» — и протяжно прогудел:

— Вижу, что заело... Из какого колхоза?

— Из Пантина.

— Ну, не может же этого быть. Таких чернявок там нет. В Пантине девушки все больше белобрысенки.

— Знаю нет. Я же вакуированная с юга. От сорок первого года тут околачиваюсь, пантинской меня все считают.

— Что же ты домой не едешь — ваши места теперь освобожденные.

— Сама не понимаю. Прилипла тут душой и не в силах уехать. И колхоз-то хилый, а чем-то держит меня. Может оттого, что он такой несчастный и мне

жалко его. Народ очень хороший, только председатель плохой. Вот, слышала я, старый председатель с войны пришел. Все радуются — дело опять пойдёт. Говорят, бравый, с медалями приехал, очень деловой.

— А кто такой?

— Да фамилия-то ему чудная, на манер моей. Мне Подопри-Гора, а ему — Достань-Воробушка.

— Верно схоже, — засмеялся Вася. — Но только это прозвище, а фамилия ему другая.

— Разве вы его знаете?

— Как же не знать экого чорта. Я высок, а он еще выше меня. Но колхоз он поправит. Это у него не отобьется.

— Тогда уж мне легче будет колхоз оставить...

— Вот будущей осенью уедешь, к тому времени он артель наладит. Муж-то у вас где?

— Какой муж... Я сюда пятнадцать лет девчонкой приехала, и вон какая в Пантине-то выросла.

— А куда же вы едете?

— В Пантино. Был у нас кузнец, да тягу дал, теперь возим инвентарь в починку на пятнадцать километров... Приехала вот за ним, а он еще не готов, два дня нажимала, чтобы поскорей сделали.

— Да-а... Одна езда чего стоит. А как же выбраться теперь из этой ловушки? — спросил Вася, кивнув в сторону телеги.

— Я не очень слабая, но ничего не могу поделать. Буду ждать, пока ручей не просохнет.

— Долго ждать придется, — проговорил Вася, спускаясь в воду и отыскивая упор для ног. Струйка ледяной воды переплеснулась через голенище и обожгла ногу. Вася нахуливал ногами какое-то корневище, встал на него крепко и подставил плечо под нахлестку. Девушка взяла в руки вожжи и неотрывно следила за каждым его движением. Василий, собрав всю свою силу, здоровым правым плечом рванул телегу вверх и подтолкнул вперед. Улучив момент, девушка шугнула лошадь, и телега как бы выскочила на берег. Василий покачнувшись, но удержался на ногах, схватившись за ветку ольхи. В глазах ходили красные точки, вода казалась красной, и девушка на том берегу ручья будто стояла в пламени необъятного пожара. Она смеялась не то от радости, не то от изумления и повторяла:

— Это ж сила... Какая у вас сила. Чей вы будете?

— Недалече я... тутотшний... Он шумно дышал и водил из стороны в сторону головой, стараясь отогнать от глаз рой красных точек. Решительным усилием он повернулся и тяжело стал подниматься на крутой берег ручья.

— Шинель-то на плече лопнула по шву-у-у, — кричала девушка. — Вот вам жена-а...

— А у меня ее еще не-е-т...

— Приходите в Пантино, — почему-то еще громче закричала девушка, — у нас в Пантине девушки веселы-я-я...

После встречи у ручья Вася почувствовал какой-то прилив избыточных сил и вошел в Потехино веселый, как будто выпрямленный и оттого еще более высокий.

Вениамин Семенович работал председателем здешней артели пятнадцатый год. За эти годы он убрал колхоз, как гнездышко. Благоустроенные фермы, высокие удои, устойчивые урожаи, полные сусеки.

Когда ему бригады докладывали о невыходе кого-либо из колхозников на работу, он говорил:

— Надо поступить с ним строго. Забудь о нем на неделю.

Дня через три провинившийся приходил просить работы:

— А ты отдохни, — тихо и ласково говорил Вениамин.

— Да я уж отдохнул.

— А может мало отдохнул?

— Да уж хватит.

— Ну, хватит, так хватит, скажи бригадире, чтоб наряжал на работу, что я велел.

Вениамин Семенович руками даже всхлопнул, увидев Васю.

— Васенька!.. Нежданно-негаданно! Насовсем?

— Так точно... Левую руку перебили.

— И, где теперь основался?

— За Пантино опять берусь.

— Наладка большая требуется.

— Вот и принялся за наладку.

До войны молодой пантинский Вася и старый потехинский Вениамин были соперниками. Оспаривали друг у друга первенство в урожаях, удоях, сроках сева, уборки.

— Опять мне будешь вызовы засылать? Добро. Люблю с толковыми и сильными потягаться.

— До этого еще далеко. Сначала еще твоя помощь нужна. Что же ты пантинских-то не взлюбил? А?

— Признаю — строго обошелся. Отказал. Прошлый год брали — не отдали... Нынче опять. Ваш Федор суетится-бесится, а дело из рук валится. Выходит все как-то не по-крестьянски. Жестоко я поступил. Не люблю в яму добро валить.

— Теперь я опять буду председателем.

— Теперь и разговор другой. Ты мастер, сила. Знаю, видел. У тебя хозяйство волчком завертится. Ну, как повоевал? Трудно, поди, было, тебя ведь за версту видеть.

— У нас часть была подобрана из ребят, которые еще выше меня. У немцев эсэсовские части были из высоких, а мы выше, как рванем, так их, как бревен на реке перед водополью, навалим.

— А чего хопь заслужил ли?

— А как же! — Вася распахнул шинель, и Вениамин увидел на гимнастерке пять медалей, сиявших серебром и

бронзой. Ленточки их напоминали цветистую лужайку перед сенокосной порой.

— Вот это выставка, — подивился Вениамин. — На медали тебе, видно, везло. — Он вырвал из блокнота листок и взял ручку:

— Так сколько и каких тебе семян-то надо?

Вася сказал коротко, четко, по-военному.

— Бери больше. Знаю, у тебя все в дело пойдет, уверен, что отдашь.

— Высчитал — хватит.

— Ну, тебе виднее. Присылай подводы.

Вася застегнул шинель и надел картуз, но Вениамин остановил его.

— Погоди. Пойдем ко мне — чайку выпьем со свиданьем... Не думал я, что ты живым вернешься, цель-то, думаю, уж очень заметна, смажут...

Они закусили, опорожнили литр, но у Васи только чуть-чуть зашумело в голове. Он шагал крупно, твердо, сдвигая картуз на затылок, распахнув шинель, и думал:

— Сколько я кузнецов в Пантине вырастил, только теперь на фронте все... А этот Федор не догадался подсидеть к кузнецу мальчишек. Наемный кузнец ушел, — свои бы кузнецы остались. Где же взять кузнеца? — Он сбавил шаг, остановился, потом решительно повернул обратно.

— К тебе, Вениамин Семенович, еще одна просьба будет. У тебя есть хорошие кузнецы. Я пришлю к ним поучиться пару пареньков из своего колхоза, отберу ребят потолковее. А то где ж мне кузнецов взять.

— Присылай, — сказал Вениамин Семенович, — обучим. Привози чего подремонттировать надо. Для дельного колхоза ничего не жаль.

Вася шел в Пантино веселый, уверенный в себе.

В лицо дул свежий ветер разлива и шекотал ноздри смутными, возбуждающими запахами. Вечером в палисаднике дома правления собралась молодежь. Она собиралась так тут и до войны, когда парней и девушек было много и председатель был их одноклассником. Заиграла гармошка, в вальсе закрутились пары. Около Васи каким-то образом очутилась «вакуированная с юга» и он пригласил ее танцевать.

— Знаю теперь, знаю — это вы Достань-Воробушка. А зовут Ва-а-ся, — горячо шептала она и смотрела на него стыдливо и восторженно.

А. БЛАГОВ

М. ДУДИН.

ИЗ ПИСЕМ НА ФРОНТ

САМСОН

В чужой дали, в чужом тумане
Немало видел ты дорог.
Не знаю, где тебя застанет
Любовно сложенный листок.

Прочтешь короткую записку
И будут снова на виду:
В родном поселке домик низкий,
Густые яблони в саду.

Кусты акаций возле дома
Почти касаются стекла,
Тропинка к фабрике знакомой
Еще травой не заросла.

Все ждет хозяина и друга,
Считая дни, четвертый год,
Покорно ждет тебя подруга
И свято верит в твой приход.

Если грустно становится,
Слез я не знаю.
Поздним часом заглянет
Короткий досуг:

Я беру твои письма
И снова читаю
Задуманные строчки,
Далекий мой друг.



И на сердце тепло,
И спадает усталость,
И попрежнему силы
Готовы к борьбе,
Будто, кажется мне,
Я с тобой повидалась,
Обо всем, что хотела,
Сказала тебе.

Я в Петергофе не был никогда.
И вот сейчас брожу среди развалин,
Где красный щебень по земле

развален,
Где на столбах обвисли провода,
Где голые, безрукие деревья
Стоят, как привидения из поверья,
Где старый храм с глазами
пустыми,
Где пахнет мертвым запахом
пустыни,
Где дикая ночная тишина
Назойлива и смысла лишена.

Мне кажется, когда глаза закрою,
Песчаный берег, залитый волною,
Граненные хрустальные стаканы,

Прозрачное холодное вино,
До синих звезд летящие фонтаны.
В мечтах и снах нам многое дано.

Когда жива мечта, я не поверю
В ничем непоправимую потерю.
Пусть в явь земную переходит сон.

Я вижу ясно, как на поле сечи
Идет, крутые разгибая плечи,
Неистовый, разгневанный Самсон.

Действующая Армия.

Бабушка Татьяна

И. ХАНАЕВ

Дом у бабушки Татьяны —
Знаменитый дом.
На веселые поляны
Смотрит передом,
Целых три окошка к ряду,
Белая труба,
По фасаду для парада
Разная резьба.
Свежим тесом крыша крыта,
Скатами пряма...
Но не меньше знаменита
Бабушка сама.
Целый день в работе разной
Вьется там и тут,
И в колхозе Безотказной
Бабушку зовут.
Ткать попросит — сделай милость,
Шить — она швея, —
Знать, такая уж родилась
Безотказная.
Бригадир идет с народом:
«На покос пойдешь?»
Становись со мною рядом...
«Рядом? Ну, так что ж...».
И на утро, раным-рано,
Чуть заря видна,
Шебуршит косою Татьяна
Афанасьевна.



Бригадир цыгарку вертит,
Потом облизлся:
«Здорова! А вроде смерти:
Кости да коса.
Ну-ка, бабушка, и зажину,
Начинаем рожь».

Тридцать рук тебе подкину»,
— «Тридцать? Ну, так что ж...».
Выйдет бабушкина рота
На передний край —
Вечеру в хлебах ворота —
Табуны гоняй.
Валит лес, поставки возит,
В город до Сенной
Едет бабушка в обозе
Самой головной.
— Чай, ты, бабушка, устала, —
Не свяtee всех.
Ведь годков тебе немало,
Отдохнуть не грех.
— «Не жалею, милый, поту:
Раз уж на войне —
Каждый каждую работу
Делает вдвойне.
Не чужие тянем сани,
А свои, небось, —
Вот и бабушке Татьяне
Помогать пришлось.
Век на печке не сидела:
Лучше не умру,
А умру, так уж за делом,
В поле,
на миру».

СЫНУ

Д. СЕМЕНОВСКИЙ



Переключка писем в край из края,
Страх, надежды — все оборвалось.
Лишь осталась нам перевитая
Синей лентой прядь его волос.

Не звучать осиротевшей скрипке
В милых гибких и худых руках.
Не сиять застенчивой улыбке
Из беснующих молодых уст.

Но не надо нам тоской томиться
И хранить в глазах ее печать.
Светлыми любил он наши лица,
Не белел в разлуке нам скучать.

Был и он в суровых буднях
светел —
Юный воин с любящей душой.
Мужественно грозный час он
встретил,
Совершая подвиг боевой.

Он всегда и всюду будет с нами
И всегда везде мы будем с ним.
Он придет с изменчивыми снами,
Всклыхнет воспоминаний дым.

Смутны сны, воспоминанья зыбки,
Но всегда нас будут озарять
Тихие лучи его улыбки
И волос рассыпчатая прядь.

Б. ОСОКИН

ОСЕЛ И КОЛПАК

БАСНЯ

Чтоб слыть ученым меж зверями,
Осел решил надеть колпак,
Очки надвинул над бровями
И натянул по моде фрак.
Потом, взяв пару умных книг,
Главой, для важности, поник.
— Что нового на белом свете?
Спросил его наивный уж.
— Скажи, осел, ученый муж!
— Сие (ответил тот)... в секрете...
Обзором кратким наших дней
Я поделюсь среди друзей.
Молва про мудрого осла

По лесу ширилась, росла.
А он, успехом окрыленный,
Глагольствовал завороченно:
— Да... с точки зрения моей
Я стал умнее всех зверей...
Так он витийствовал и пел.
Вдруг как-то ветер налетел,
Сорвал колпак,
И сел мудрец на мель, как рак.

Недавно за одним селом
Он шел опять осел-ослом.

ПОЭТ МОРЕЯ

Ивановское областное государственное издательство выпустило книгу избранных стихов поэта А. Лебедева «Морская сила». Книга хорошая и нужная.

Поэт Алексей Лебедев занимает свое место в нашей советской поэзии. И как поэт, и как человек, он является образцом служения советского гражданина своей матери-Родине. Лебедев вырос в Иванове. С первыми своими стихами он выступал в «Рабочем крае» и других областных изданиях.

Крепким, жизнерадостным юношей он твердо решил посвятить свою жизнь благородному делу — защите наших советских морей. Он служил Родине и как моряк, и как поэт.

В первых же стихах — море, отважные люди морей, советские моряки — матросы и офицеры становятся его героями.

В книге «Морская сила» ряд стихов поэта печатается впервые. Эти стихи переданы издательству родными поэты.

Читатели текстильного края с интересом прочтут стихи своего славного земляка, который безгранично любил свободу и жизнь, и во имя этого не жалел своей жизни. ИВгиз, выпустив книгу стихов А. Лебедева, сделал нужное и полезное дело.

М. ШЕГОДСКОЙ.

Ответственный редактор
Т. Н. ЛЕШУКОВ.

